

Молиться она не умела, но на ночь, лёжа и закрыв глаза, думала: «Спасибо, Господи, за этот чудесный день». Подумав так, она вспоминала. Иногда она восстанавливала прошедшее, двигаясь от последней минуты к первой, которую помнила; иногда прокручивала прожитый день с начала. Где-то она вычитала: ежевечернее припоминание цепочки событий прошлого тренирует мозг, укрепляет волю, дисциплинирует, учит терпению. «Спасибо, Господи, за этот чудесный день. Последнее, что я слышала? Сломать? Сломать. Нет, сегодня мне лучше пойти с начала», – решила она, легла на спину, нацелила взгляд в неясно белеющий потолок.

Утром он долго спал. Она сидела на балконе, радуясь теплу раннего утра, синему небу и белым далёким облачкам, чашке горячего чая в руке, и – чего уж там – радуясь тому, что он ещё спит. В небе галдели стрижи, сновали из стороны в сторону, свивались кольцами, собирались в кучу страшной чёрной массой, а потом бросались врассыпную, словно дети, играющие в пятнашки. Если бы не стрижи, смотреть с балкона было бы не на что: облезлые коробки домов, куцые деревья, пыльный асфальт, серые крыши киосков. Она долго следила за птицами и забыла про чай. «Бездельница, – с улыбкой подумала она о себе. – Бездельница и лентяйка. Видела б тебя бабушка».

Сейчас, в темноте, глядя в еле видимый потолок, она опять улыбнулась утреннему воспоминанию о старухе, её голосе и лице и о том, как, вздёрнув худой острый нос, та, бывало, ворчала: «Руки девицы просят работы. Нечем занять – вышивай, крупу выбирай». Старуха была права: когда руки заняты, в голове меньше ненужных мыслей, например – пойти погулять, или – познакомиться с тем светловолосым парнем. Она подумала: «Рано ты меня без догляда оставила, бабуля. Хотя, может,

и к лучшему. Всё к лучшему. Он всё равно бы бросил меня – после. Лучше уж так, потому что если бы он бросил меня после – ни за что не простила бы, пошла бы кроваво мстить, убила бы, посадили бы, а маленького тогда – в приют. Вот так всё и было бы, если б позже. А так – и винить-то некого, а кого винить хочется – того забыли как звать». Она не знала, как болит сердце, но когда думала о приюте, слева внутри себя ощущала воинственный кулачок, который крепко сжимался против её воли, будто угрожая, запрещая об этом думать.

«Увело, накренило в сторону», – подумала она, перевернулась на бок, зевнула. Сквозь щелку меж закрытыми шторами сочился жёлтый свет от уличных фонарей, висел, окрашивал столб воздуха напротив кровати.

Он долго спал, и утро получилось чудесным. Она успела подтереть полы, вымыть и высушить голову, снять с сушилки и перегладить вчерашнее бельё, загрузить в машинку новое. Пока гладила, вползлука слушала телевизор: что-то о похудении, диетах для похудения, лепки фигуры к началу пляжного лета. Телевизор выключила вместе с уюгом: «Хоть бы раз рассказали, как поправиться». Она старалась кормить его хорошо, но он неохотно пробовал новое, рос быстро, но плохо набирал в весе. И хотя она боялась, что когда-нибудь он всё же поправится и она не сможет носить его на руках, старалась кормить его правильно. С утра на плитке для него томилась овсянка из цельных зёрен. Она успела сделать себе бутерброд – кусок батона с маслом и сыром, развести кофе с молоком, расположиться за столом с бутербродом, кофе и свежим номером журнала. Она откусила край бутерброда, глотнула кофе, раскрыла журнал – а он проснулся.

Она пошла к нему с улыбкой, но настроение испортилось, потому что он плакал. «Толком не успел проснуться: почему плачет? Интересно, когда он плачет, ему также плохо, как мне, когда плачет он? Когда плачу я – ему, кажется, всё равно, он не понимает такого». Она думала так, но всё-таки старалась не плакать при нём. Она, вообще, старалась не плакать, разве что иногда, совсем редко, в подушку. Тоже бабушкина школа: «Думочка в себя заберёт, в себя водицу впитает». Иногда, вспомнив старухины поучения, она вздыхала о том, что думы ей скрывать не от кого – и думы, и слёзы. Но такой мысли она стыдилась, а если случайно думала так – одёргивала и ругала себя, как бабка в детстве – по рукам била. Она мирилась с тем, что ему непонятны чужие чувства, но, по-честному, не до конца в это верила, сколько ни говорили. А порой ей казалось, что он притворяется: что понимает всё, только скрывает это.

Она стряхнула прядку волос со лба: «Опять занесло. Какие же непослушные эти мысли». Вернулась к событиям утра. Он плакал, она, услышав это, расстроилась, но попыталась сохранить беспечное летнее настроение: подошла к нему с улыбкой, что-то сказала, поцеловала, погладила шёлковую головку. Он плакал. Похлопала в ладоши – плакал. Пришлось взять его на руки. «Какой он тяжёлый – очень тяжёлый. Тот, кто плачет, должен быть лёгким и маленьким», – это сейчас она думала, лёжа в постели, а утром только взяла его на руки, почувствовала тяжесть его тёплого вялого тельца, обняла покрепче и стала ходить с ним по комнате – от окна к стене, от стены к окну, – пока не успокоился. «Значит, у него ничего не болело, – поняла она. – А плакал он по другой причине. Какие могут быть у него причины для слёз?»

Она поставила его на подоконник, грудью прижавшись сзади к тоненьким белым ножкам: «Смотри, там стрижи. Стрижи!» Он повторил:

«Стрижи», – а на птиц не посмотрел даже. Она вздохнула, усадила его в высокий детский стульчик – он взвизгнул, стульчик давно стал мал и при усаживании давил коленку. Плакать он перестал, засмотрелся в окошко. Она покормила его, не рискнув дать ему в руку ложку, чтобы его настроение снова не испортилось. Она убрала пустую тарелку, заметила, что он занялся пальцами – стал рассматривать их, прикладывая один к другому, опустив подбородок, желобком оттопырив нижнюю губку – подумала, что, может быть, пока он играет пальцами, она успеет дочитать журнал, и торопливо стала его пролистывать: «Как справиться с перхотью. Как победить молочницу. Как правильно загорать летом...» Она дошла почти до обложки, когда он сильно стукнул по столешнице ладошкой и снова заплакал. «Нас это не касается!» – она захлопнула журнал ладонями. Посмотрела на него: он выглядел несчастным. «Нет, нас это касается. Нас всё касается! Мы тоже можем загорать летом. У нас тоже может появиться перхоть, да?» – говорила она, обращаясь к нему. Чтобы отвлечь его, она скрутила журнал трубкой и стала выть в неё, изображая автомобильную сирену: «Ы-аа, ы-аа...» Потом она бросила журнал ему на маленький столик. Он замолчал, взял в руки журнал, стал рвать странички, она отвернулась – «Читать там всё равно нечего» – и решила, пока он занят, вымыть посуду. Она покончила с этим быстро, а вытирая полотенцем руки, почувствовала на себе его взгляд.

Она медленно повернулась. Он снова смотрел на неё тем взглядом. Иногда она замечала этот его взгляд, и он пугал её, потому что был слишком серьёзен и разумен, и каждый раз, встречая этот взгляд, она думала, что он притворяется, что на самом деле он понимает гораздо больше, чем она привыкла считать. Он понимает всё, но зачем-то скрывает это. Зачем?

Она подошла к нему:

– Ты ведь всё понимаешь, правда? Скажи мне, что ты понимаешь всё.

Он отвернулся к двери и молчал, глядя в проём между белыми косяками. Пора было выбираться на прогулку, но сегодня ей не хотелось. «Он так долго спал, скоро обедать, потом отдохнём и сходим в парк ближе к вечеру». Совесть грызла недолго. «Вера Зиновьевна сказала заниматься каждое утро», – придумала она оправдание. Она унесла его в комнату, посадила на ковёр, дала «приборчик». Когда-то, вдохновлённая надеждами, она сделала большой и красивый приборчик: ярко разрисованное папье-маше с углублениями для чайной ложки, погремушки, резинового утёнка, шарика для пинг-понга и чупа-чупса. Суть занятия с приборчиком – разложить предметы в нужные углубления. Сделать этого он не мог, сколько она не билась – не то чтобы путался в соответствиях, а, судя по движениям, которые он делал, совсем не понимал задачи. Углубления для шарика, в которое, как ей казалось, так и просился шарик, он не замечал, да и других тоже, иногда только засовывал в раскрашенные ямки указательный пальчик.

Тот первый «приборчик» он со временем поломал, стучая хрупким папье-маше по полу. Она обрезала непоправимое, подклеила, что было можно. «Так даже лучше, бог любит троицу»: «приборчик» стал маленьким, в три углубления – под ложку, шарик и утёнка. Но прогресса в его занятиях не было, он кидал утёнка, кидал шарик, кидал ложку, стучал по полу «приборчиком», а иногда надолго замирал, сидя с утёнком или ложкой в руке, будто забыв о них, и смотрел в сторону. Когда он доломал отреставрированный «приборчик», она решила оставить

занятия, но месяца через два, сдавшись под уколами совести, снова села мастерить папье-маше. На этот раз она сделала его совсем простым: два углубления – для ложки и теннисного шарика. Но он невзлюбил новый «приборчик»: не замечал его, если она раскладывала предметы на полу, ронял, если она всовывала «приборчик» ему в руку.

Он захныкал во сне, и она затаила дыхание, прислушиваясь, не проснётся ли. Он простонал что-то невнятное, пошевелился в постели и стих, а она стала думать дальше. «А ну его к лешему – “приборчик”. Чем мы обедали? Доели вчерашний суп. Мы всё доели, и я мыла посуду. Как хорошо, наверное, сейчас на улице – не жарко и светят фонари. А днём была духота, и ели мы без аппетита. Я научилась работать двумя ложками сразу, чтобы моя порция не остывала, пока я кормлю его. Да, точно. Кому скажи – не поверят. Но я никому не скажу. Так вот. Поели. Я мыла посуду, а он клевал носом над столиком. Наверное, он был сонным из-за жары. Но жара у нас долго не задерживается. В прошлом году и двух недель не стояла. А я опять отвлеклась». Помыв посуду, она вытерла руки, вынула его из детского стульчика – не пискнул, безболезненно вынимать его из стульчика получалось – и понесла к своей кровати. Она положила его ближе к стене, и сама легла рядом, потом встала, открыла балконную дверь, задёрнула шторы и снова легла. В комнату солнце не попадало, и в ней было прохладнее, чем на кухне. Он взял её за руку и больно сдвинул мизинец. Она аккуратно вытянула палец из цепкого кулачка, но он поймал его и больно сдвинул опять.

– Больно! – воскликнула она и выдернула палец.

– Больно, – повторил он и улыбнулся, прижавшись щёчкой к её плечу.

Она отвернулась, чтобы не видеть его улыбки, повернулась на бок, спиной к нему, прислушалась: «Сейчас заплачет». Но он не заплакал. Она заглянула украдкой через плечо: он играл пальцами. Она почему-то вспомнила, как вчера на его глазах прихлопнула мухобойкой влетевшую в кухню муху. «Что мама?» – спросил он. «Я убила муху», – ответила она. Он присел на корточки посмотреть, но она поспешно схватила со стола салфетку, взяла муху, скомкала её вместе с салфеткой, бросила в мусорное ведро. «Убила муху», – повторил он. «Да – надо убить муху», – сказала она, взяла его за руку и вывела из кухни.

Ей стало душно, она откинула одеяло и потянулась на кровати. Хотелось спать, и она решила вспоминать быстрее. «Так, значит, утреннюю прогулку мы пропустили. Да и ладно. Утром – только во двор. Слишком тяжело спускаться и поднимать на пятый этаж его вместе с коляской. А во двор – и без коляски можно». Правда, по лестничным пролётам она его всё-таки носила на руках. Он и сам мог бы подниматься и спускаться, но не хотел. Иногда ей хватало терпения подождать, пока он одолеет три-четыре ступени. Иногда она даже считала громко: «Раз, два, три, четыре. Молодец!» Но чаще, сделав шаг, он останавливался, будто забывая о том, что от него требуется, или действительно забывая об этом. Часто ей казалось, что он просто вредничает, как вредничают любые другие дети, но потом она вспоминала о том, что он не похож на любых других, и поднимала его, брала на руки и несла на руках.

Они пошли гулять под вечер, когда стало прохладней и небо затянуло тучами. Вечером они всегда ходили в парк – раз уж мучиться со спуском и подъёмом в подъезде, так не ради двадцати минут во дворе. Коляска у них была хорошая, лёгкая, только вот лестницы в их подъезде узковатые, и спускаться с коляской и ребёнком в руках было ещё труднее, чем подниматься, потому что подниматься она могла, двигаясь

боком вперёд, а спускаться боком вперёд она боялась – вдруг оступится и уронит его. Из-за этих прогулок она любила зиму больше, чем лето. Санки легче таскать в подъезде. Зимой рано темнеет и можно катить его на санках вдоль улицы в сфере жёлтых фонарей на высоких столбах. Она вспомнила, как приятно бывало катить его, закутанного в шубку, сидящего на санках с алюминиевой спинкой – ножки в серых валенках воинственно торчат вперёд, из-под шарфа смотрят синие глазницы. Когда зимой она возила его вдоль улицы, никто не обращал на них внимания, потому что на санках катают разных детей. На санках катают даже совсем уже взрослых детей. Детские санки – не то что детские коляски, коляски – только для маленьких.

Она открыла глаза, сон прошёл: «Самое главное! Что там сначала было? Да ничего особенного». Они подкатились к песочнице, там были все свои, она поздоровалась с мамочками, вынула его из коляски, подтолкнула к сиреневому бордюру. Дети играли в тени высокой сосны, вокруг на широком газоне зеленела трава. Маленький Артёмка, возивший по песку грузовичок, глянул на них недружелюбно и отвернулся. «Кажется, я заговорила со Светкой? Да. О чём? Не помню, странно. Да о чём можно говорить с этой Светкой? Стерва. В тот раз умудрилась высказаться: “А хорошо тебе в каком-то смысле. Нам вот велосипедик пора купить, то игрушку новую, то игру, теперь к школе готовиться – альбомы, фломастеры, а твоему не надо ничего”. Змея подколотная. Да нет, какая она змея, обыкновенная дура. Она тогда спохватилась: “Ой, миленькая, прости”. Простила, чего уж там. А зачем тогда вспоминаю? Так. Где я остановилась? Остановилась я на песочнице».

Пятилетняя Сонечка подняла покорно повисшего в её руках смешного дымчатого котёнка с белым пятном над носом.

– Какая лапочка! – загнусила Светкина Анжелика.

– Какой хорошенький! – в тон Анжелике заныла другая девочка.

– А он дрессированный? – спросил шестилетний Артёмка.

– Он ещё очень ма-аленький, – подражая своей маме, объяснила Сонечка и нежно прижала котёнка к подбородку.

Дети облепили Сонечку, каждый хотел дотронуться до перепуганного животного, беззвучно повисшего у девочки на руках.

– Его надо убить! – вдруг громко пискнул её большой мальчик.

– Ты что-о-о? – завопила Сонечка и мгновенно заплакала.

– Дурак, – крикнул Артёмка.

– Его надо убить! – пискнул её мальчик ещё громче.

– Ты что?

– Какой ужас!

– Ты нехороший!

– Маленький котёночек, разве тебе не жалко?

Мама говорили показательно, дети – искренне, а она злобно дёрнула его за руку, невольно оттягивая подальше от котёнка и других детей, увлекая к себе. Сонечка всё громче плакала, дети теперь утешали её, мамашки о чём-то оживлённо говорили между собой, Артёмка их внимательно слушал, а на сосне у песочницы закаркала ворона.

Она заставила себя успокоиться, присела на корточки, развернула его бледным личиком к себе, взяла за обе ладошки.

– Почему?

Он молчал: испугался криков. Не выпуская из рук, она пощекотала пальцами его ладошки. Он нехотя улыбнулся. Она тоже улыбнулась ему, заглянула в личико, лоя взгляд, спросила тихо и ласково:

– Почему?

«Молчит. Может, уже забыл?» – подумала она быстро.

Но он не забыл: ответил тихо, будто даже обиженно:

– Его надо убить... Как муху...

Она ещё пару секунд улыбалась ему, потом смотрела на него без улыбки, просто так, внимательно, потом прижала к себе – шёлковая головка легла на плечо – погладила гладкие волосы.

– Как муху. Как муху, я поняла. Как муху...

– Как муху? Ты сказал – как муху?

Она вскочила, ринулась в сторону, потянув его за собой к коляске. Усадила его, сцепила защёлку ремня, покатила из парка, забыв попрощаться с мамочками. Рука тряслась: она с трудом нашла в списке её номер: «Где же. Вот. Вера Зиновьевна».

– Вера Зиновьевна, здравствуйте! Да, это я. Спасибо. Нет, хорошо. Всё хорошо у нас. Вера Зиновьевна, он сказал – «как!» «Как муху». Он сопоставил, Вы меня понимаете?! Да. Ну, не важно, что. Он сравнил, соединил, у него получилось! Невероятно, но он сопоставил вчерашнее и сегодняшнее, понимаете? Это ведь на порядок сложнее, я читала. Да, спасибо. Я тоже. Да, нужно устроить праздник. Хорошо. Мы к вам придём. Мы придём обязательно – да, на следующей неделе. Да, я поняла вас: тренировать, насколько возможно, чаще. Да-да, я справлюсь, это легко. Дерево высокое, как дом. Печенье вкусное, как конфета. Да-да, я понимаю вас! Два яблока – как два стакана. Да, это труднее, но, я думаю, это он тоже поймёт. Конечно, не следует торопиться. Да, придём, и вы хорошенько нам всё объясните. Спасибо вам. До свидания.

Она убрала телефон в сумочку и шла бодрым шагом, энергично толкая коляску, а та подпрыгивала на трещинах старого тротуара. «Два яблока – как два стакана. Три яблока – как три стакана. Или как три ложки. Ты можешь держать ложку, как я. Ты – как я. Ты – как они. Когда ты бросаешь песок им в глаза – им больно, как и тебе будет больно, если я брошу песок в глаза тебе. Если я стукну тебя – тебе будет больно, как мне – если ты меня стукнешь. Я плачу, потому что мне больно, когда ты сильно сжимаешь мой палец. Я плачу как ты – ведь больно мне как тебе. Ты – как я. Ты – как они. Ты можешь ходить, как они. Ты можешь бегать, как они. Ты можешь говорить так, как они говорят. Если они спросят – ты ответишь. Если ты спросишь – они ответят тебе», – она придумывала новые и новые будущие его открытия, придумывала весело, легко, стараясь запоминать самые ловкие сравнения, придумывала всю дорогу, до подъезда дома, пока не въехала колёсами коляски в бетонную ступеньку крыльца.

Она умыла его, сварила картофельное пюре – его любимое, с кусочками сливочного масла и каплями протёртого куриного мяса, потом кормила его и возбуждённо сообщала ему разную нелепицу: «Убить котёнка – как убить муху»; «погладить котёнка – как погладить тебя»; «ты живой – как котёнок и муха»; «пюре вкусное – как каша и суп». Она дала ему компот, вынула из стула, усадила на горшок, а потом на ковёр, но почувствовала, что слишком возбуждена, чтобы играть с ним. Он рассматривал свои пальцы, а она смотрела в окно и старалась успокоиться. Он понимает цвета. Он понимает команды: «сядь», «вставай», «ложись», «дай», «на». «Как собака», – подумала она, и слева внутри неё крепко стиснулся кулачок, запрещающая продолжить. Он знает много слов: «дом», «дорога», «коляска», «улица», «яблоко», «каша»... Он знает очень, очень много разных слов.

Когда-то она записывала всё, что он знает, в тонкую тетрадку. Тетрадка кончилась, другой она заводить не стала, потому что поняла, что то, что он много знает, ничего не меняет. Он не может понять «больше» и «меньше», «выше» или «ниже». Он не может понять «два», «три», «пять». А она не может понять, как это – не понимать, что два яблока – это «два». Когда она впервые узнала о том, что вероятнее всего он так и не сможет соотносить предметы, чувства, величины – она решила, что это не так уж страшно. Он просто не будет математиком, инженером, доктором, строителем и кем-то ещё другим, чья работа требует такого умения. Она не знала тогда, что умение соотносить вещи, чувства, величины нужно не только в работе математика, инженера, строителя, что оно нужно не только для работы, не столько для работы, что работа тут ни при чём.

Почти каждый день он осваивал новые слова. Одно из последних завоеваний – «хочу». Он говорил «хочу», подставляя к нему разные другие слова, иногда выходило удачно, иногда не очень. «Хочу яблоко», «хочу мяч», «хочу спать», «хочу дай». «Хочу, чтобы ты дала мне попить» – это пока слишком сложно. Это вообще слишком сложно. Нужно ли громоздить такие длинные паровозы из слов, если можно сказать просто: «Хочу пить»? С этим мы справимся, а вот с другим? Скажет ли он когда-нибудь «хочешь»? «Ты хочешь попить, мама?» Сейчас, в тёмной комнате, внутри неё снова сжался кулачок, и она отвлекла себя и от этих мыслей, вернувшись к припоминанию сегодняшнего. «Почему он сопоставил именно это? Потому что это его удивило? Почему его удивила убитая муха? Это было не похоже на всё другое? Может быть. Не важно, главное – если муха его удивила, значит, он способен удивляться, значит, я могу этим воспользоваться, нужно лишь чаще удивлять его. Как? Говорить неправдоподобное, преувеличенное? “Ты вырастешь большой, как дом”? Слишком сложно, “большой” – ему непонятно. Тогда просто – “Ты вырастешь как дом”». Она засмеялась.

Она думала об этом вечером, когда, выкупав его в большой ванне и закутав в мягкое синее полотенце, носила от стены к окну, от окна к стене, дожидаясь, когда он захочет спать и начнёт тереть глазки. В ванной они скопили пар, зеркало запотело, и, когда она вынимала его из воды, он пальцем начертил на запотевшем зеркале полоску, и она подумала, что нужно купить краски и кисточки, и, может быть, ему понравится рисовать, а может, он окажется талантливым и станет знаменитым художником, когда вырастет. Она пыталась представить его взрослым, но не могла.

Он потёр глазки. Он был очень хорошенький, когда, поддаваясь сну, тёр кулачками глазки. Однажды они задержались на прогулке, и она несла его, засыпающего, домой, и соседка по подъезду сказала: «Какой красавчик! Вырастет – от девчонок не будет отбою». И в парикмахерской говорили, что он красивый, что волосы такие редко у кого встретишь – густые, гладкие, блестящие – чистый шёлк. И что глазки умненькие, говорили. И что послушный. «Да, послушный красавчик», – она погладила его мокрые волосы, поставила его на подоконник, одела его в пижаму. Но он стал вредничать, и она опять носила от окна к стене, от стены к окну, делая остановки на подоконнике.

Состороны парка, с востока, дул сильный ветер. Тучи плотно облепили небо, и под ними, будто на прозрачных качелях, на ветру раскачивались стрижи. Старательно работая крыльями, они продвигались на несколько метров к востоку, а потом замирали, сдаваясь, и ветер отбрасывал

их назад. Туда-сюда, туда-сюда – качались под тучами десятки чёрных пташек. Она смотрела на них, когда подходила к окну, и думала, что птицы счастливы, что им по нраву вдруг подаренная ветром бестолковая игрушка, им привычно это «туда-сюда», они прилетают сюда каждый май и улетают отсюда каждый август, и вся их жизнь напоминает маятник, а люди не похожи на этих птиц, люди не могут топтаться на месте, не могут снова и снова возвращаться к тому, с чего начали.

Стемнело. Она устала его носить, но терпела, знала, что вот-вот начнёт тереть кулачками глазки. И тогда она поцелует его в гладкий белый лобик и уложит в постель. «Дождёмся только фонарей», – решила она. Летом фонари включали в половине одиннадцатого, зимой – раньше, и она всегда ловила этот момент. Фонари вспыхивали сначала холодным – розово-голубым, а через пару мгновений теплели – наполнялись мягким и тёплым жёлтым, вокруг каждого появлялся сияющий ореол, в котором летом мелькали дождевики или трепетали мотыльки, а зимой – иногда – сверкали капли изморози или летели снежинки, но чаще мельтешила пыль, что поднимали машины с дороги.

Странной была эта улица – безликой и почти бесцветной: стены типовых пятиэтажек с облупленной штукатуркой, выцветший до бледно-серого асфальт весь в буграх, ямках и трещинах, грубо обрезанные тополя, пыльные газоны, на которых зимой не залёживался долго снег, а летом ни в какую не приживалась трава. С их верхнего этажа видны были безобразные крыши киосков почты, мороженого и бытовой химии. Прохожих там было мало, машины проезжали быстро, иногда тормозили у одного из ларьков или сворачивали в какой-то дворик. Но когда зажигались фонари, улица преображалась. Из вытянутых в форме капель чашек вниз лились потоки неяркого золотисто-жёлтого. Асфальт казался более тёмным и будто бы новым, свежим, газоны – влажными, обрезанные тополя становились диковинными деревьями, они отбрасывали на тротуары страшноватые тени, алюминий на крышах киосков мерцал, а стены дешёвых домов в волшебном свете жёлтых фонарей вдруг превращались в древние и значительные.

«О чём ты думаешь?» – тихо спросила она, зная, что он не ответит.

О чём он думает? Думает ли он о чём-нибудь? Она смотрела на нежное личико – мечтательное, с оттопыренной желобком нижней губкой – и убеждала себя и его: «Это кончится, это пройдёт. Ты понимаешь “как”, значит, ты можешь понять многое: трава – зелёная, как листья, твои глаза – синие, как небо, ты – хороший и умный, как другие дети». Она чувствовала, что ноги на полу мёрзнут – не от холода, ведь пол застелен толстым линолеумом, а оттого, что в голову лезет вопрос: «А вдруг не пройдёт, не кончится?» Но на улице как раз зажглись фонари. И она улынулась: «Пройдёт, конечно, пройдёт». А он вдруг сказал:

– Хочь туда.

Она встала на цыпочки, заглянула в его серьёзное личико. Он смотрел на похорошевшую улицу.

– Зачем? – спросила она.

– Идти.

– Куда?

– Туда.

– Зачем?

– Сломать те жёлтые фонари.

Она стояла, обнимая его и глядя на струящийся золотисто-жёлтый. Он потёр кулачками глазки. Её босым ногам снова стало холодно, она

пошевелила пальцами, чтобы ноги не мёрзли, взяла его на руки и понесла к кровати. Она уложила его, поцеловала в лобик, вернулась к окошку. Она долго смотрела на улицу с древними стенами домов и таинственными тенями от диковинных деревьев, потом закрыла шторы и пошла спать. «Сломаю жёлтые фонари», – звучал где-то вокруг неё тоненький голос. «Сломаю жёлтые фонари». У края кровати она тряхнула головой, отпугивая его, отгоняя, как комара, но голосок упрямо звучал где-то. Она выключила ночник и влезла под одеяло. «Сломаю жёлтые фонари». Она отвернулась к стенке: «Спасибо, Господи, за этот чудесный день». «Сломаю жёлтые фонари». «Нет, сегодня начну вспоминать сначала». Она вспомнила прожитый день, а когда добралась до вечера, до тёмной улицы за окном, до жёлтых фонарей, сон почти одолел её.

Сон окутывал её плоскими и вывернутыми бесконечностями, поворотами, ямами, коридорами, случайными словами, предметами, среди которых были и шарик для пинг-понга, и резиновый утёнок, и мухобойка, и ложка, и котёнок, и ворона на сосне, и маятник, и коляска, и санки, и бабкина крупа, и думочка. «“Сломаю” – новое слово. Как муху? Как “приборчик”? Новое слово – это хорошо. Но с этим я не усну. Новое слово – плюс, но я не могу заснуть из-за этого нового слова». Она ворочалась. Легла так, что свет от уличных фонарей прицелился ей в глаза, и сощурилась. Она крепко сомкнула веки, но жёлтая полоска осталась, и она думала теперь об этой жёлтой полоске. Мысли спутывались, но она успевала ещё выхватывать их, выравнивать, укладывать одну на другую в стопку, как укладывала по утрам выглаженные простыни. «Мне надо знать, как эти штуки устроены», – подумала она вдруг и сразу же успокоилась. Она перевернулась на бок и улыбнулась, освобождённая, будто вынувшая из глаза мошку. Сон потянул, поволок, понёс, как течение быстрой речки, но она успела повторить то, о чём нельзя позабыть завтра: «Ты вырастешь большой, как дом... Ты будешь идти по улице, ломая жёлтые фонари, а я буду чинить фонари, которые ты ломаешь».